Сорин БРУТ

Сорин Брут родился в 1995 году, закончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ (бакалавриат). Учится в магистратуре на том же факультете. Статьи публиковались в журналах «Искусство» и «Литература».

БЕЗВЕТРИЕ

Рассказ

1.

Началась осень, и Шатов вернулся домой. Обычно торопливый, теперь он неспешно прошел через катакомбы подземного перехода и выбрался, наконец, в еще не полный, не оформившийся сентябрь на пересечении Азовской и Чонгарского бульвара. Достал сигарету и легко, в безветрии, раскурил ее. В стороне, у гостиницы «Берлин» стоял обычный предночной гул. Зычно перекрикивались таксисты, торговцы и маргиналы всех мастей. Здесь же все было спокойно. Шатов свернул на Черноморский бульвар и сразу же ощутил захватившую это место сонливость. Небо было высоким и тусклым. Листья еще крепко держались на ветвях и как будто не собирались ни падать, ни желтеть. Машин почти не было, а отработавшие своё усталые невеселые люди двигались неслышно и незаметно. Шатов часто писал портреты таких забитых жизнью людей, с особым старанием ловил морщины, синяки под глазами и отрешенность от всего, притупленную боль. На пересечении с Симферопольским бульваром художник закурил вновь, но не успел сделать и трех затяжек, как оказался уже у нужного подъезда многоэтажки из красного кирпича. Шатов присел на бордюр и докурил. Здесь, на четвертом этаже, была квартира его девушки. Он переехал сюда недавно, примерно полгода назад, и еще не приноровился высчитывать точное количество сигарет на пути от метро. Большую часть этого полугодия Шатов ездил по России, делал наброски, писал небольшие холсты и даже прочел в Саратове несколько лекций о современной американской живописи.

Андрею Шатову было двадцать пять лет. Среднего роста, неопрятный и полноватый, с лохматящимися, давно не стриженными светлыми волосами, он выглядел почти на тридцать пять. Руки у Шатова были длинными и крепкими, плечи широкими, а ноги несоразмерно худыми. Лицо казалось бы тяжелым и задумчивым, если бы не быстрые, смешливые глаза.

Шатов начал рисовать около десяти лет назад. В первые годы писал все подряд. Выходило сентиментально и, в целом, скверно. Со временем его отрывочные подростковые идеи сложились в какое-то подобие мировоззрения. Тогда Шатов всерьез взялся за портреты – иногда мрачно-реалистические, но чаще философские, изображавшие не конкретных людей, а *человека вообще*, так, как он его видел и чувствовал. Эти работы чем-то напоминали древние коптские иконы. Шатов ценил их больше других. Зрители же предпочитали картины попроще, образы мрачных горожан, иссиня-красные лица алкоголиков и рубленые, угловатые головы рабочих. Время от времени такие холсты приобретал в свою коллекцию какой-нибудь смелый и не считающийся с модой ценитель. Тогда у Шатова появлялись деньги, которые он старался растянуть на подольше. В остальное же время ему приходилось подрабатывать самыми случайными и скучными способами.

Так прошли три послеинститутских года. Теперь же все стало потихоньку меняться, двигаться и вроде бы складываться. Сначала появилось несколько заметок про Шатова в художественных журналах, потом купили сразу пять хороших философских портретов, и вот, наконец, одна приличная московская галерея предложила ему выставку. Все лето Андрей работал на юге. Кое-что из написанных там картин тоже удалось

продать, а значит, можно было пока не держать в голове поиск новой работы. Шатов радовался уже этому. К осени художник вернулся домой, к Лере, которая уехала с юга раньше него. Они не виделись около месяца. Шатова ждала неделя покоя и тишины. И сам он уже давно дожидался этой недели.

2.

– Привет! – Лера неловко обняла его, потом крепко прижала к себе.

Однокомнатная крошечная квартира пахла чем-то старым и тихим. На советских коричневых полках стояли запыленные собрания сочинений Драйзера, Пушкина, Бальзака. Новые книги сюда еще не переехали и жили пока что на квартире родителей Шатова, хотя кое-что, вроде ярких «азбучных» и светлых «лениздатовских» обложек Сэлинджера, Кутзее, Довлатова и Сарамаго, гостевало на прикроватной тумбочке. Шатовских картин здесь тоже пока не было. Шатов сразу же прошел в кухню, достал из холодильника бутылку кока-колы и налил себе полную чашку, чтобы промочить пересохшее от сигарет горло. Потом он тяжело повалился на диван в комнате. Лера осторожно легла рядом. Шатов обнял ее и начал рассказывать то, что всю дорогу собирал мысленно в одну большую историю. Севастополь, Ялта, Евпатория, Коктебель и другие города древней Киммерии оборачивались и легендами прошлого, и настоящим, иногда светлым, иногда досадно пошлым и пустым. Волошин, Богаевский, Мандельштам, портики и колоннады Севастополя и лимонное пиво там, где некогда высадился на скалистый берег грек, тюленьи телеса туристов и отвернувшийся от них бронзовый Макс в своем извечном хитоне, провинциальный модерн ялтинских особняков, ютившихся на склонах гор, фруктовые сады многочисленных крымских дач и шум Черного моря – все это разноголосо звучало в историях очарованного Крымом Шатова. Художник говорил возбужденно, быстро, то и дело перескакивал с темы на тему, но потом всегда возвращался к предыдущей. Он не умел рассказывать что-либо последовательно. Лера была совсем другой. Возможно, именно поэтому им с Шатовым хорошо жилось вместе. Тихая, молчаливая и себе на уме, редко выявлявшая ход своих размышлений и чувств, она напоминала Шатову барсука. Не то чтобы она была похожа на этого своевольного дикого зверька внешне. Скорее ей подходило звучание слова. Лера была нелюдима, почти не разговаривала даже в компании близких друзей, а если говорила, то произносила что-то односложное подчеркнуто нейтральным тоном, словно бы только для того, чтобы собеседник мог продолжить свой рассказ. Когда же Лера была вдвоем с Шатовым, она раскрывалась и становилась вроде бы совсем настоящей, хотя сам Шатов не всегда это ощущал и иногда в душе беспокоился.

Несколько раз они выходили на узкий балкон, раздвигали стекла, Шатов курил, и разговор, перемежаемый затяжками и выдохами, приобретал новый ритм. В Москве у Леры все было по-прежнему – работа в НИИ, книги, редкие встречи с подругами, прогулки по заросшим тропинкам больших московских парков и жизнь в себе. Шатову казалось, что Лера любила такую жизнь. Но даже после общих полутора лет он не мог быть полностью уверен.

К ужину, то есть уже совсем в ночи, в гости заглянул писатель Иващенко, с которым Шатов сдружился еще в институтские годы. Лера достала вино. Иващенко вытащил из сумки бутылку водки. Вскоре они уселись за крошечный кухонный стол и взялись за макароны с сыром и, главное, за стаканы с рюмками. Все крымские истории были заново пересказаны, добавились и московские писательские байки, вино быстро сошло на нет, полилась водка, которую закусывали звонкими и хрусткими маринованными огурцами. Пока Шатов ходил в туалет, Иващенко с Лерой долили ему сорокаградусной в остатки вина и потом, спровоцировав быстрый тост за Довлатова, долго смеялись над ним.

В их компании любили дурачиться. Впрочем, как и пить за Довлатова. Как-то раз Шатов, Иващенко и несколько общих друзей собрались у кого-то на квартире. Пили

много и выпили, кажется, уже за всё, но стаканы как назло снова наполнились, и повисла неловкая пауза. Наконец сильно пьяный Шатов нашелся и непоколебимым тоном провозгласил: «Не знаешь, за что пить? Пей за Довлатова! Древняя русская традиция, между прочим». И чокнулись, и выпили, и с того случая начали регулярно пить «за Довлатова». Самым забавным, но и досадным было то, что в какой бы компании ни звучало это проверенное звоном рюмок «За Довлатова!», всегда находился человек, глаза которого при этих словах наполнялись неподдельным удивлением и даже смятением, и следом он произносил: «А кто это?» Все смеялись, а писатель Рицци с шутливой грозностью говорил: «Так ты извинишься? Или сразу выйдем?» Ну а после все пили за Довлатова.

У Иващенко была одна замечательная привычка. Во время дружеских попоек, в барах или на кухнях, во время совместных походов в музей или еще куда-то, – в общем, получается, что в любое время, он в некий случайный и слабо улавливаемый момент доставал вдруг электронную книжку и начинал зачитывать избранные отрывки из самых разных авторов. Это бывали Газданов или Мариенгоф, иногда что-то из переписки Набокова – Иващенко был отличным чтецом, удачно выбирал интонацию, выделял наиболее колоритные места, шутки же зачитывал неподражаемо. Для более изысканных острот он перевоплощался в высокомерного господина литератора, в голосе чувствовалась его деланно наглая, непринужденная поза. Когда же шутки были грубы и язвительны, он становился вдруг пузатым купчиной, сидящим, широко развалившись, в кресле за дубовым столом. В этот раз Шатова поразила история: некая грубоватая и не очень приятная женщина пришла с юношей-сыном к издателю «Аполлона» и автору этих воспоминаний Маковскому. Они принесли стихи. Маковский должен был решить судьбу молодого поэта – либо заниматься литературой, коли есть талант, либо не «маяться дурью» и идти в торговлю, в помощь родителям. Маковский пытался увильнуть, но под материнским напором вынужден был начать чтение. Это были обычные скверные юношеские стихи. Маковский не нашел в них совершенно ничего интересного. Но, подняв глаза на юношу, он прочел в его взоре такую мольбу, что не смог сказать правду, сказал только, что стихи хороши и что он видит перед собой настоящего поэта.

Пока Иващенко зачитывал этот отрывок, стояла напряженная тишина. Шатов ссутулился на хлипкой табуретке. Пальцы его были сомкнуты в замок и покраснели от напряжения. Шатов волновался. Быть может, потому что боготворил Мандельштама, а может, и из-за того, что схожая история происходила сейчас с ним. Она качалась тенью за окном, шла вслед по улице, закуривала вместе с ним у метро и тяжело дышала, поднимаясь по лестнице в офис галериста или коллекционера. Нужен ли нам, товарищи, художник Шатов? – как на каком-нибудь советском собрании спрашивали лица на рекламных плакатах, московские бульвары и залитые светом и жаром улочки Севастополя. Нужен нам художник Шатов или, может быть, он нам не нужен? – этот вопрос звучал в голове Шатова последние десять лет. Но он никак не мог собраться с духом, чтобы ответить на него самому себе. Чудо спасло Мандельштама, а есть ли и для него, для Шатова, чудо? Иващенко понимал художника. Он и сам был в похожем положении.

Когда писатель закончил читать, все втроем они вышли на балкон покурить. Темнота спустилась на Черноморский бульвар, во влажном воздухе тускло горели фонари, а тишина словно бы оплела весь город, всю планету, и не было ничего вне этой тишины, и не было людей, они все спали и потому казались не страшными. Слепыми темными глазами глядели соседние панельки, и лишь в немногих окнах еще оставался свет.

– Я вот, знаете, когда работала в банке... – начала расхрабрившаяся Лера. – я шла на работу утром и уже в метро, когда выходила на Рижской, чувствовала запах своего офиса. Я не могу описать его, но это был именно он. Держался несколько секунд, а потом пропадал и появлялся вновь, уже на весь день, когда я приходила туда.

– Печально, что могу сказать, – хмыкнул Иващенко.

– Да ладно, печально, – улыбнулся Шатов, – по-моему, дорога на работу – это до жути смешно. Ты вскакиваешь, злобный и невыспавшийся, ни свет ни заря и изо всех сил несешься в то место, в котором меньше всего на свете хочешь оказаться. При этом еще боишься опоздать туда и выслушивать какую-то чушь от помощника менеджера или вообще черт знает кого.

– Да, вот так бегаешь, бегаешь, злишься, раздражаешься, а потом привыкаешь. Просыпаешься заранее, ложишься вечером пораньше, идешь до метро не спеша и думаешь: что это стало с моей жизнью? Как незаметно она успокоилась! И самое главное, тебе нравится, что она успокоилась.

– Был такой стих у Бурича, – улыбнулся Шатов, – про благополучную жизнь. Он кончался, кажется строчкой «Каким предательством ты купил все это».

Иващенко засмеялся, а Лера продолжила:

– Да, что-то вроде того. Каждое утро, когда шла на работу – спрашивала себя: «Неужели Ты родилась для этого?» Знаете, я в детстве очень любила рисовать себя в будущем. Естественно, я была прекрасной принцессой, в платье роскошном, все дела. Так грустно было вспоминать об этом.

– Я помню как-то спросил Соню, ну с которой мы учились… – начал Иващенко, – а мы типа стояли у корпуса, этакие мрачноватые старшекурсники, вот, я спросил, что в нас поменялось за пять лет, ведь что-то же поменялось, а она говорит: «да, лодка разбилась о быт. Ну не разбилась точнее, а споткнулась». По-моему, весьма точно.

– Я, кстати, тоже в детстве рисовал себя будущего, взрослого, – сказал Шатов и затянулся, – это было в детском саду. У меня была подружка. Мы с ней даже хотели пожениться. Она, как и ты, рисовала себя принцессой. Или президентом. Ну, в общем, была высокого полета. А я рисовал себя художником с морщинами и бородой в какой-то неказистой потрепанной рубахе. И вот, значит, та моя подружка показывает мне свой рисунок, этакая барби у нее получилась, а потом смотрит на мой и говорит: «Как же мы станем мужем и женой, если ты будешь таким некрасивым».

Посмеялись.

– Ну вот, видишь, прямо по Фрейду у тебя получается. Станешь счастливым.

– «Черная карта», будешь счастливым! – передразнил Шатов.

– Ага, будешь счастливым художником по Фрейду. Это уже Хармс какой-то, – улыбнулась Лера.

– Но вообще, да, вроде движется дело куда-то, – сказал Шатов, – но это сейчас… А раньше-то я столько выслушал всякой ерунды про ужасы жизни художника.

– Поверь мне, очень знакомо, – сказал писатель.

– Но, с другой стороны, ведь это происходит просто потому, что все боятся нестабильности.

– И при этом почему-то не боятся променять жизнь на стабильность… – сказал Иващенко, – я вот вообще не представляю, для чего жить без нормального дела.

– Это литература-то нормальное дело? – засмеялся Шатов. – Примерно такое тебе говорили, наверное.

– Ну да, что-то вроде. Еще говорили, что все дети не хотят жить так, как живут их родители. А потом повторяют их модели.

– Знаешь, я в детстве очень любил пиратов, – сказал Шатов. – Ну типа я много в них играл. Помню, еще до ремонта, то есть мне было лет семь, в родительской спальне был старый диван, и я играл, что это мой корабль, плавающий в комнате-море, сражался с подушками, а наш пес был страшным морским чудовищем, и мы с ним боролись и возились. Вот. А еще я читал про пиратов всякие книги. Был такой пират Бартоломео Робертс, может, вы слышали. Экстравагантный персонаж. И в одной книжке была его цитата, что-то вроде: «Я хочу прожить короткую и полную приключений жизнь, а не долгую, размеренную и скучную». В общем-то, понятно, что мысль, так скажем, средней руки…

– Средней головы, – поправила Лера.

– Да, что-то Сидом Вишесом пахнуло, – усмехнулся Иващенко.

– В общем, мне тогда эта фраза безумно понравилась. И я ее смаковал всячески в школьные годы, а потом забыл. Но некоторое время назад вспомнил. И она снова мне понравилась. Вернее, не столько слова, сколько прямота, с которой этот человек строил свою жизнь. То есть он не создавал комфорт ценой каких-то бешеных усилий и потом за него не трясся, не искал стабильности, в которой потом умирал со скуки, не хотел денег самих по себе, славы самой по себе. Он хотел жизни и не просто, а такой, какой ее придумал. И строил ее, как архитектор, а не обставлял мебелью, понимаешь?

– То есть этакий пират-философ, плавающий в мире? – засмеялся Иващенко.

– Как это ни смешно, вроде того. Архитектор-пират, если быть точным.

– Вообще, по-моему, важно просто то, что он смотрел на жизнь в целом, а не на день недели, – вставил Иващенко.

– Мне кажется, мы говорим примерно об одном и том же.

– Конечно, – подтвердила Лера, – о высоком.

– Нет-нет, ты не поняла, мы о пиратах, – отшутился Шатов.

– Каких таких пиратах? Они уже потонули в море пафоса! – засмеялась Лера и выкинула бычок. Его искра мелькнула и исчезла в темноте.

Долго еще говорили. Допивали водку, снова шли курить, а потом включили музыку. Они отправились спать только под утро, когда за окном уже зашуршали по асфальту метлы дворников.

3.

А утром, то есть около часа пополудни, Иващенко ушел, и с этого момента начались тихие дни Шатова с Лерой. Они просыпались поздно, обычно не раньше двенадцати, завтракали яичницей или макаронами, для экономии с сырным соусом вместо сыра, и дальнейшее время до глубокой ночи проводили в приятной расслабленности, лишь изредка поднимаясь с дивана, и, как правило, только для того, чтобы заварить кофе и вернуться назад. И Шатов, и Лера в детстве любили футбол. Лера, наверное, даже больше. Когда-то она собиралась заниматься экономикой футбола. А Шатов мог стать профессиональным вратарем, но выбрал живопись, о чем он, конечно, не жалел, хотя то и дело норовил подшутить над собой на тему этих своих былых возможностей сделаться успешным человеком. Когда Шатов учился в школе, футбол здорово помогал ему. Школа была районная, на окраине, и потому для странного Шатова футбол был чем-то вроде языка. Так он общался с одношкольниками и завоевывал их бесценное уважение. Иначе бы ему часто доставалось. Потом, впрочем, и так стало доставаться. Но теперь игра в мяч осталась только на экране и только как один из приятных способов ничегонеделанья. Лерин телевизор показывал футбол по нескольким каналам и практически круглосуточно. Так, после завтрака свалившись на диван с чашками сносного растворимого кофе, Лера и Шатов старались не вставать часов до шести вечера. Все это время они болтали, одновременно следя за картинкой сменяющихся городов, стадионов и команд. Шатов рассказывал бесконечные истории, часто шутил, и часто «толсто», говорил о живописи, развивал какие-то свои идеи и, облекая в слова, сам начинал лучше их понимать. Лера охотно отвечала, но редко начинала разговоры. Так было для нее естественней. Иногда она отправлялась заваривать новый кофе или, для разнообразия, чай, а разленившийся Шатов не находил в себе сил оторваться от мягких подушек. Он разваливался во всю длину дивана и утыкался глазами в экран, горячо болел и даже вскрикивал, если игрок не забивал верный момент или вратарь ошибался.

Шатов несколько последних лет жил в состоянии, которое сам иногда называл самоубийственной гонкой. Это словосочетание он подсмотрел в книге рассказов Уильяма Стайрона. Все на бегу, все в спешке, случайная и скверная работа, ночи, в которые нужно

успеть зарисовать все замыслы, еще и с Лерой побыть, убраться, посуду сполоснуть. Шатов никогда ничего не успевал. Он ежедневно корил себя за это, что тоже отнимало силы. Но теперь писать картины совсем не хотелось, хотя многие старые задумки еще не были воплощены.

– Вот же разленился, – любя, а подчас и всерьез, говорил он себе, – ну ладно, могу же я хоть немного поотдыхать.

Иногда вместо футбола Шатов и Лера смотрели «Южный парк» и «Свинку Пеппу». Когда начиналась «Пеппа», Шатов с усмешкой приговаривал «для самых маленьких», разумеется, относя к этим самым маленьким и себя, и Леру. Им нравилось детство. Лера часто сворачивалась в клубок у Шатова на коленях, и он, обхватив ее, покачивал из сторону в сторону и убаюкивал, как младенца. Еще забавнее было смотреть, как в такой же клубочек сворачивается крупный Шатов. А он тоже любил, когда с ним возились и тетешкались.

Время от времени Шатов отрывался от дивана и шел курить на балкон. Он смотрел на осеннее затишье. Чернели мокрые от недавнего дождя стволы. Бесцветное небо отражалось в тускло-зеленой листве. Осень чувствовалась во всем, что происходило в эти дни в городе, – в вялых движениях немногих прохожих, в плавном течении редких машин, в серости и отчужденности улиц. Ничто не спорило со сном, не будило спящий мир. Над аллеей спали потрепанные плиты брежневских домов. За ними дремали новые башни какого-то неживого блеклого цвета. Шатову казалось, что все вокруг успокоилось навсегда, и его собственная торопливая и нервная жизнь тоже перестала бежать. Прохладный воздух приятно обволакивал лицо. Шатову нравилось это состояние.

Как-то раз на улице поднялся шум. Когда Шатов вышел на балкон, он увидел, что внизу дерутся два мужчины. Они оба нетвердо стояли на ногах. Их пытались разнять женщина и маленькая девочка, видимо жена и дочь одного из них. Второй, как понял Шатов, был либо его близким другом, либо родственником. Драка продолжалась несколько минут. Потом они разошлись, и снова воцарилась тишина. А Шатов вспомнил, как как-то раз в его дворе парень повалил свою девушку на асфальт и несколько раз ударил ее ногой. Шатов тогда испугался и не заступился. Но в другой раз заступился, потому что был с собакой. Тогда мужчина тоже бил женщину. Это было четырнадцатого февраля. Они отмечали праздник «Виноградным днем» у подъезда и из-за чего-то поссорились. Шатов смотрел на снова опустевшую улицу и думал, что люди могут слепить себя совершенно любыми, но почему-то становятся такими. Слепить и слепить – одно и то же слово, но с противоположными смыслами, – решил Шатов. – Лепка и слепота как раз и есть что-то вроде выбора. Но стоило ему выбросить обжегший пальцы бычок и отправиться в комнату, как все это пропало.

А дома было уютно и хорошо. Шатов и Лера забирались на диван, болтали и прихлебывали из горячих чашек кофе с сахаром и молоком. И все мрачные размышления Шатова от этого ленивого состояния постепенно стирались. Словно бы совсем исчез большой и странный настоящий мир, а остался только тихий комнатный мирок, в котором было полегче и потише.

По вечерам они периодически покидали укрытие и выбирались в центр, в кино или в небольшое кафе, и возвращались уже за полночь. Если же оставались дома, то смотрели Джима Джармуша, Пон Чжун Хо или любимого Лерой Уэса Андерсона, предварительно закупив копеечного шампанского или водочки и к ней соленых огурчиков. Лера хмелела, уходила в себя, замолкала надолго, Шатов же, наоборот, веселел и расходился, включал какую-нибудь старую песню, слушал ее много раз подряд, подпевал, дико подтанцовывал и имитировал игру, кажется, на всех инструментах сразу.

А еще, кроме ленивого дня, кроме футбола, дивана, балкона, сигарет и выпивки, кроме отсутствия других, кроме вечерних фильмов или редких поездок в центр, в этой каким-то чудом не распадавшейся тишине были игры. Их придумывал Шатов. Иногда он

прятал какой-нибудь маленький мячик, оставшийся в квартире от прошлой, неизвестной ему жизни Лериной семьи. А потом рисовал карты, разрезал их на кусочки и тоже прятал, а к ним делал загадки-подсказки со стишками или ассоциациями. Потом Лера начинала поиски. Шатов ходил за ней, шутил, подсказывал и как ребенок радовался, когда она находила очередной смятый листок, ведущий ее к кладу. Иногда они придумывали друг другу шарады и потом подолгу бились с ними: Лера – потому что Шатов загадывал сложно, а Андрей – потому что плохо умел отгадывать. Было и много других хитрых игр.

Как-то утром Шатов выдумал фантастический город и нарисовал карту его метро. Станции назывались именами общих друзей или деятелей культуры и, конечно, разными Лериными прозвищами. Рицианский бульвар и Риццоград получили свои названия в честь писателя Рицци. В тех же районах приютились театр Уайльда и ипподром Генри Чинаски. Другую окраину украсила своей изысканной модерновской застройкой и изобилием всякого рода питейных заведений улица литератора Иващенко. Лера питала не слишком понятную для Шатова страсть к спальным окраинным районам. Поэтому названные в честь нее Барсуково, Медоедово, Бумбарашево и Улица 50-летия Зюзинца были мрачными и шантропскими, хотя и не без своеобразного шарма. Очень отличались от них Большие и Малые Зайцы с панельными пятиэтажками, увитыми виноградом и плющом, вокруг которых были зеленые, как будто «лесные», дворы с фонтанчиками и торчащими из земли бетонными каркасами, стилизованными под руины. Рядом расположился Солевой округ. Странное место. Здесь к брежневским гостинкам прилипли смешные «античные» портики и фронтоны, а в парке, среди старых деревьев, росли кое-где скульптуры из ржавого железа. Каждый район в этом городе имел какую-то изюминку.

Когда Лера проснулась, уже взбодренный собственной фантазией Шатов предложил ей отправиться в путешествие по воображаемому городу. На какой бы станции ни вышла Лера, Шатов тотчас же выдумывал окрестный пейзаж и в подробностях описывал его особенности, рассказывал историю места, говорил о людях, которые здесь живут. Потом Лера ехала дальше. Прогулка длилась около часа. За это время Лера побывала во всех уголках выдуманного города, окончательно проснулась и теперь почти все время улыбалась. Когда Лера улыбалась, она похожа была на полную луну. Шатов, глядя на нее в такие моменты, чувствовал, что, может быть, нужен и без картин.

И Шатов, и Лера были грустными людьми. Грустили они по-разному. Шатов шумно – злился, кричал и раздражался. Лера – совсем иначе. Она как будто выпадала из жизни и часами сидела, глядя в пустоту. Если же ее пытались пробудить, начинала плакать и пряталась под одеяло или плед. А Шатов подолгу сидел рядом и успокаивал ее. Хотя чувства в эти первые дни сентября стали отчего-то тише и проще, они и теперь часто грустили. Грусти было не меньше, чем радости, Но главным было то, что и Шатов, и Лера умели утешить друг друга. После грустных часов у них вновь появлялись силы и даже какая-то вера в жизнь.

4.

За всем этим прошло десять дней. Дней без ничего. Дней абсолютной тишины. А потом как-то утром Шатов не высидел, собрал масляную пастель, акрил и кисти. Холсты были на квартире родителей, в шатовской комнате, которая временно служила мастерской. Напоследок он покурил на балконе, над бульваром, где, как и прежде, начиналась осень. Шатов всматривался в нехитрый и не до конца еще родной здешний пейзаж и думал, что где бы он потом ни жил, где бы они с Лерой ни оказались, в каких комнатах ни строили бы заново свой собственный дом, в нем навсегда останется оттенок этого места, крошечной квартиры с пыльными полками и старыми книгами, осеннего бульвара, бесцветного неба, тоскливых окрестных домов и долгой непрерывной тишины. Шатов знал, что этот оттенок запомнится бессловно, без определенной картинки, но так,

как остаются в памяти давно прочитанные книги – каким-то почти неуловимым, призрачным ощущением. Только оттенок. Все остальное умрет.

Попрощался с Лерой до вечера. Она осталась постепенно погружаться в научно-институтские дела. Шатов вышел на улицу, снова закурил и заспешил к метро, думая о молодом Мандельштаме и отчего-то радуясь. А на Черноморском бульваре опять зашумел ветер.